

А. А. Житнев

*Воронежский государственный университет
Воронеж, Россия
superbia@mail.ru*

ПОЭТОЛОГИЯ ВЕНИАМИНА БЛАЖЕННОГО¹

Природа поэзии, миссия поэта — в числе важнейших для В. Блаженного мотивов. Как и другие, они не выступают обособленно, образуя ряд ситуаций. Определение себя как поэта происходит у В. Блаженного через осмысление архетипических образов: поэт-избранник, выполняющий высокую миссию, устремленный в инобытие, маргинальный в жизни земной (бродяга, нищий, блаженный). В различных вариантах в этот комплекс входит мотив слова и поэтической речи.

Ключевые слова: *поэтология; поэтическое слово; поэтическая речь; образ поэта.*

В лирике В. Блаженного вопрос «что такое поэзия?» принимает вид вопроса «как быть поэтом?». Понимание бытия поэта как совокупного ответа на все вопросы поэтологического характера имеет ряд следствий.

Во-первых, поэтологический «дискурс» в чистом виде в этой лирике невычленим — рассуждения о поэте неотделимы от других вопросов экзистенциального характера, не исключаая рассуждений о телесности. Во-вторых, поэтологический корпус текстов строится не как система высказываний, а как открытый ряд ситуаций — здесь невозможны ни строгая системность, ни выраженная последовательность смены состояний, мотивный ряд каждый раз «пересобирается». В-третьих, «ситуированность» любого высказывания принимает вид уточнения системы координат, в котором важную роль играет практика соотнесения себя с известными архетипическими образами поэта. Все нижеследующее может служить развернутым комментарием к этим простым тезисам.

В поэзии В. Блаженного сам поэт — это «слово», поэтому в тематическом выделении «поэзии» нет необходимости: «Разыщите меня потому, что я вешее слово, / Потому что я вечности рвущаяся строка» [1, с. 53]; «И вначале был стон во вселенной, затем было слово, / Было слово о муке муке и смерти — мое бытие...» [1, с. 129]. Слово становится бытием, бытие словом — и это возможно везде, где переходным звеном оказывается боль-«стон»: «Давно ее слова бездомной стали мукой — /И вот они бредут за мной который год» [1, с. 322]. Пример поэтического «слова» — «бытия» акцентирован, но не специфичен, поскольку своими «словами» обладают самые разные начала мира: «Наверно, у вечности те же слова, что у смерти, / Наверно, звучание этих слов несложно» [1, с. 379].

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 19-18-00205.

«Первородное слово», связанное с поэтом, не является его собственностью, он делит его с ангелами: «Горе мое ты и радость нетленная, Брат мой в судьбе первородного слова, — / Мы разминулись одною вселенною» [1, с. 163]. Не удивительно, что среди других метафорических проекций поэтического у В. Блаженного встречается и традиционная ангельская: «Ан вот они в гробу — мои родные крылья, — / На них явился я на этот грешный свет» [1, с. 186].

В то же время это слово поэта обладает качествами, которые не свойственны другим «словам». Во-первых, поэта «дудка» собирает мир: «Ах, вот она, — теперь он соберет в мотив / И эту синеву, и эту незабудку, / И всех своих коров, и все свои пути...» [1, с. 225]. Во-вторых, она же делает возможным приобщение к разнообразным «тайнам»: «Боже мой, сколько маленьких девственных тайн, — / И не раз наблюдал я украдкой» [1, с. 345]; «И, как русалки, выплывают тайны, / И говорят русалочки слова» [1, с. 247].

Собирающее-открывающее тайны слово «орфично». Оно рассматривается как продолжение природного мира, как нечеловеческая речь: «Я изъяснялся, сумасшедший, / На языке зверей и птиц» [1, с. 19]. И потому даже если речь идет о сугубо человеческих материях, такое слово прочитывается как обращенное к людям далеко не в первую очередь: «И поэтому слово крылатое видела птица, / И поэтому слову внимали доверчиво звери» [1, с. 194]. Такая «дикость» слова дает основание для «гордости» им, для его определения как «своего», выступает средством индивидуализации: «Но я неживой скажу такое слово, / Что только из моих оно сорвется уст...» [1, с. 295].

Особость поэтического бытия у В. Блаженного связывается с комплексом качеств, соотнесенным друг с другом по самым разным линиям. Во-первых, поэт — это тот, кто больше самого себя и своих земных возможностей, он всегда стремится к «иномирному»: «Я вырвался рывком из круга бытия, / Иного бытия предчувствуя миры» [1, с. 54]. Этот мотив порыва за пределы мира связан не только с лирическим субъектом Блаженного, но и с образами других поэтов — в частности, М. Цветаевой: «Потому что Марина в себя самое не вмещалась / И рвалась из себя, как из пушки чугунной ядро» [1, с. 243].

Во-вторых, поэт — это избранник, плененный своей миссией и исключенный ею из числа других людей; он видит то, что для других закрыто: «Я, как Ван Гог, себе отрежу ухо / И будет слушать воспаленный мозг / И гром, шепот Мирowego Духа, / И огненных гудение колес» [1, с. 240]; «Несостоявшиеся встречи, / Зачем я вижу вас во сне, / И слышу трепетные речи, / Что предначлены лишь мне?...» [1, с. 249].

Эта закрытость делает и для него самого его роль «попутчика» и избранника скорее обещанной, чем исполненной. «Надежда, что сдержит Господь обещанье, / То, что я получил от Него еще в детстве» [1, с. 240], предопределяет не профетическую, а юродивую идентификацию или идентификацию самозванца: «Да, это я — паршивый отпрыск Бога / В наряде шутовском» [1, с. 119];

«Царство стихов основал самозванное... / Люди, простите меня окаянного» [1, с. 288].

В-третьих, поэт — это человек без специфического места в мире; он не вписан ни в какие социальные роли и не определим через них: это «бродяга», «нищий», «безумец» и т. д. Платой за все эти качества предсказуемо оказывается уязвимость и обреченность: «Это были какие-то люди из воска, / Каждый вдруг загорался церковной свечою» [1, с. 229].

«Слово» поэта не просто предметно, но включено в физиологию тела, оно съедобно, это пища и для людей, и для животных: «Мне хочется стихами поделиться, / Как хлебом моей нищенской души» [1, с. 375], «И слюною размешивал их (слова — А. Ж.) юродивый — / Ожидала кормежки базарная кошка» [1, с. 208]. В этом смысле это слово отчасти «евхаристично» и соотносимо с концептом «съедобного» Бога: «... Вот эта корка — Бог, ее жуют особо, / Я пересохший рот наполню не слюной, / А вздохом всей души, восторженной до гроба, / Чтобы размякший хлеб и Богом был, и мной» [1, с. 106]. Но и сам человек — это тоже «хлеб»: «Мы оба — хлеб ржаной господнего помола, / хлеб нищей высоты...» [1, с. 111].

«Съедобность» слова помещает его в «физиологические» и чувствительные ряды — в частности, делает (опосредованно, через «добрый запах» Бога — «Мы Господа и днем и ночью ищем, — / куда его девался светлый след? ... / Куда его девался добрый запах?») [1, с. 150]) соотносимым с детально разработанным кодом запахов, которые очень часто связаны не с предметными реалиями, с абстракциями и состояниями: «запах воли», «запах лжи», «запах тоски», «запах бедствий» и т. п.

«Инакомерность» и одновременно «природность», вещественность слова имеет ряд следствий. Во-первых, она предполагает безразличие к пребыванию в мире ценностей: важно, что слово *есть* в мире, а не то, что оно услышано или оценено: «Известны ль облака? Известна ли гроза? / Так почему и мне по тем стезям небесным, / Слезамизойдя, свой путь пройти нельзя? / Зачем же мне стихи предать людской огласке?» [1, с. 281]. Во-вторых, она предполагает устойчивую соотношенность с традиционным зооморфным кодом, в котором поэт — «пес» или «птаха»: «Господь, Господь, я только птаха малая, / Но в горлышке моем тоскует слово» [1, с. 77], «Николай Алексеевич Клюев / Головою касается звезд, / И бредет, благодати взыскаю, / Как всевышний ушибленный пес» [1, с. 60].

Тесная связь человеческого и животного в мире В. Блаженного влечет за собой изменения в трактовке таких традиционных поэтологических концептов, как «немота» и «молчание». В поэзии В. Блаженного они связаны не с приобщенностью к дознаковой полноте бытия или неспособностью к речи, а с блокировкой речи.

«Дикое» поэтическое слово и обнаруживает эту ограниченность, и старается ее преодолеть. При этом и в животном, и в человеческом мире причины

онемения одинаковы: это «страх» / «тоска»: «А звери молча сгуют на Бога, / Они не плачут, а глядят в тоску» [1, с. 46]; «“Как говорил отец...” — А он немел от страха, / Когда бездомным псам свою готовил речь» [1, с. 222].

Преодоление — в указании на перерастание словом любой конвенциональной речи, в частности, поэтической: «Не зовите стихами мои иступленные строчки, / Ведь стихи сочиняют поэты в домашней тиши» [1, с. 208]. Поэзия как «не-стихи», так же, как и поэтическое бытие-слово, тоже выводит за пределы человеческого мира: «Есть тот, кто ничего не понимает — / Ребенок или зверь — и только он / Вселенную душою обнимает / И только он свободен и умен» [1, с. 285].

«Свобода» и «ум» в таком контексте явно противостоят миру культуры. Их наполнение стихийно и иррационально. Состоянием, в котором такая стихийность выходит на первый план, оказывается тревога. Собственно, у В. Блаженного родовая способность поэта — это не способность писать стихи, а именно способность «тревожиться»: «А порой мое слово уходит сурово / В неизвестные дали, тревогой влекомо, — / И скитается в поисках вещего Слова / За какой-то незримой чертой окоема...» [1, с. 327]; «А меж жизнью и смертью крупицею бледного света / В необъятной вселенной — тревожное сердце поэта» [1, с. 270]; «Рассыпается плоть на частицы души / Косяком потревоженных птиц» [1, с. 302]; «Не бойся, не оглядывайся, мальчик, / Ты будешь палатином моим впрядь, / Я жизнь твою в огне переиначу / И научу тебя тревожно петь» [1, с. 247].

Источники и формы проживания поэтической «тревоги» многообразны, но одной из наиболее специфических для поэзии В. Блаженного ее форм оказывается ситуация перманентной незавершенности всех важнейших жизненных событий, которые проживаются многократно, спутывая или делая условными любые временные координаты. «Мальчик» и «старик», «живой» и «мертвый» («И сколько ни живу — столетье ли, мгновенье, / И жив я или нет — Господь не знает сам...») [1, с. 147]), субъект В. Блаженного неприкаян не только в земном мире, но и в метафизической плоскости бытия. При этом «бездомен» не только он, но и его «слова».

Чужая смерть как наиболее чистый пример «события» происходит, но не принимается — и все жизненные сюжеты продолжают по ту сторону бытия и для того, кто умер, и для того, кто ему сопереживает: «И как это в голову мне не пришло, что в могиле / Меня не оставят малейшие самые беды» [1, с. 241]; «Пока я жив, никто не умирал. / Умершие живут со мною рядом» [1, с. 234]. Неуспокоенность — неотъемлемый эмоционального строя этой лирики: «Родная моя, почему ты меня не любила, / Теперь мне и в смерти не знать ни минуты покоя...» [1, с. 197].

На образно-композиционном уровне поэтического корпуса эта идея имеет своим следствием условную «монотематичность» поэзии В. Блаженного, отсутствие выраженного развития в трактовке ключевых образов и сюжетов. На уровне сюжета эта мысль порождает идею «наследования» однажды уже звучавшей в мире «песни»; «слово-бытие» вбирает в себя другие жизни

и голоса: «И играл он в каком-то трактире, / Но, однако, он знал непреложно, / Что я буду жить в этом мире / И печальную песню продолжу» [1, с. 138].

В смерти все вещи становятся обратимыми, все, кто с ней связаны, получают способность к метаморфозе: «...Как будто мертвый не одно и то же, / Что луговой цветок или же птица» [1, с. 224]. У В. Блаженного это еще одна линия, позволяющая связать Бога и поэта — в равной мере умирающих и воскресающих («И снится Бог... Но то, что было Богом, — / Шумело ливнем, пряталось травой / И было в поле молчаливым стогом, / И было многим — только не собой...») [1, с. 233]; «Не знаю, почему, но мнится мне Марина / То в образе босой бродяжки на заре, / То спутницей Христа у стен Иерусалима, / А то хромающей собакой во дворе...» [1, с. 245].

Смерть — предел власти поэтического слова, которое стремится и не может стать «сотериологическим», воскрешать и спасать. В поэтическом корпусе заявлено стремление к победе над смертью: «Ведь я затем и говорил стихами, / Что от прикосновения стиха / Порою рушился могильный камень, Выглядывали лики и века» [1, с. 76]. Но победа эта в большинстве текстов оказывается символической и, следовательно, иллюзорной: «Поэт, ты хвалился отвагой великою, / Хвалился, что Господа Бога всесильней, — / А можешь ты смерть уничтожить безликую, / Повесить старуху на той вон осине?» [1, с. 276] Поэтическое слово в этом контексте приобретает значение у-топоса, пространства всевозможности и всеосуществимости, встречи живых и мертвых: «В том Доме я могу, блуждая до поры / В сообществе живых, но жалуясь умершим, / С Ахматовой вздыхать, с Цветаевой курить / И прочие творить немислимые вещи» [1, с. 116].

Слово-утопос, живущее своей сиюминутной убедительностью, чуждо систематичности. В поэтической практике важна не проговоренность (доведенность до конца), а выговоренность (артикулированность). Разные оценки и суждения у В. Блаженного не сведены друг с другом и ценны в своем разноречии. Это справедливо и по отношению к корпусу «поэтологических» высказываний: «Пускай мои слова бредут куда попало, / Пускай из этих слов не возникает речь» [1, с. 314]. Поэтическое слово, таким образом, у В. Блаженного это не только «не-стихи», но и «не-речь». В этой череде парадоксальных «не» последним элементом отрицания будет указание на независимость слова от субъекта и его судьбы: «Вот и стих равнодушен к заброшенной доле поэта, / Забывает слова и в рассудке мешается стих...» [1, с. 33]. Поэтология В. Блаженного, таким образом, может быть определена как ряд разнонаправленных сдвигов в трактовке привычных для поэзии образов-мотивов поэта-птицы, поэта-пса, поэта-ангела и т. д., в котором определяющее значение имеет трактовка бытия как непоследовательного и вариативного проговаривания.

Библиографические ссылки

1. Блаженный В. Сораспатье. М: Время, 2009. 416 с.